

ИЗДАНИЕ ПЕРВОЕ



И. СЕНТЪЕВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПОРТРЕТЫ
КРИТИЧЕСКИЕ
ОЧЕРКИ



ПАМЯТНИКИ
МИРОВОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И КРИТИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ

Ш. СЕНТ-БЕВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПОРТРЕТЫ
•
КРИТИЧЕСКИЕ
ОЧЕРКИ

Перевод с французского



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1970

8 И (фр)
С31

*Составление, вступительная статья,
комментарии*
М. ТРЕСКУНОВА

Редакция перевода
А. АНДРЕС и И. ЛИХАЧЕВА

Оформление художника
И. ВАСИЛЬЕВОЙ

7-2-3
297-69

ДИДРО

Меня всегда привлекало изучение писем, разговоров, мыслей, различных особенностей характера, нравственного облика — одним словом, биографии великих писателей, в особенности если никто другой до меня не занимался еще подобного рода сравнительной биографией и мне предстояло первому наметить ее план, строить ее на собственный страх и риск. Запрешься тогда недели на две, обложившись книгами этого прославленного мертвеца — поэта или философа: штудируешь его, трактуешь и так и этак, ставишь всевозможные вопросы, пытаешься воскресить его живой облик; это почти то же самое, что провести две недели где-нибудь за городом, работая над портретом или над бюстом Байрона, Вальтера Скотта или Гете; только тут, наедине со своей моделью, как-то проще себя чувствуешь, и хотя общение с ней требует несколько большего напряжения сил, зато куда больше и рождающаяся между вами близость. Один за другим возникают все новые штрихи, и каждый из них укладывается в тот облик, который ты стремишься воспроизвести, подобно тому как звезды на наших глазах загораются одна за другой и сверкают каждая на своем месте в ткани ясной ночи. К тому смутному, общему, абстрактному облику, который удастся охватить первым же взглядом, примешиваются, постепенно сливаясь с ним, неповторимые характерные черты, сугубо индивидуальные, точно найденные, все более отчетливые и дышащие подлинной жизнью; вы чувствуете, как рождается,

как возникает у вас на глазах подлинное сходство; а в тот час, в то мгновение, когда вам удастся ухватить в нем нечто неповторимое — особую улыбку, какую-нибудь царапину, скорбную морщину на челе, прячущуюся под прядью уже редеющих волос, — анализ уступает место творчеству, портрет начинает дышать и жить, образ найден. Такого рода тайные исследования доставляют огромное удовлетворение, а плоды, которые извлекает из них чистое и живое чувство, всегда найдут себе применение. Вкус и мастерство, мы уверены с этим, всегда сообщат интерес и долговечность даже самым небольшим и самым личным произведениям искусства, если они, отразив пусть даже ограниченную область природы и жизни, несут на себе неповторимую алмазную печать, которая сразу бросается в глаза и отличает то, что пребывает в веках нетленным, не нуждается в совершенствовании и что тщетно было бы пытаться объяснить или воспроизвести заново. Революции проносятся над народами и сбрасывают монархов, как головки маков; накаплиются и ширятся наши знания; оскудевают философские системы; а между тем крохотная жемчужина, некогда порожденная человеческим разумом, — если только века и варвары не затеряли ее дорогой, — сверкает и сегодня столь же ярко, как и в час своего возникновения. Пусть завтра перед нами раскроются все тайны Египта и Индии, пусть проникнем мы в суть древних религий, попытаемся построить новые, все равно Горациева ода Ликориде * от этого не перестанет быть одной из тех жемчужин, о которых мы уже говорили выше. Наука, философские учения и религиозные культы существуют тут же, рядом, со всеми их подчас непостижимыми глубинами и безднами; что в том? Она, эта чистейшая жемчужина, однажды возникнув, навечно утверждается на вершине утеса, возвышаясь над океаном, беспрепятственно движущимся и переменчивым, и после каждой бури становится лишь все ярче, все ослепительней и прекрасней в солнечных лучах. Это отнюдь не означает, что между жемчужиной и породившим ее океаном не существовало некогда множества глубоких, таинственных связей, иными словами, что искусство никак не зависит от философии, науки и переворотов, происходящих в окружающем мире. О, вовсе нет! Всякий океан порождает свои жемчужины, в каждом

климате они по-разному развиваются и иначе окрашены: раковины Персидского залива не похожи на раковины Исландии. Но дело все в том, что искусство, вследствие особых свойств своей животворящей силы, несет в себе нечто непреходящее, нечто законченно-совершенное, нечто, что способно проявиться лишь в определенный момент и, будучи воплощено в творение, уже не знает смерти; нечто, что не зависит от уровня океана, над чем не властен его отлив и прилив, чего не измерить ни гирей, ни саженью и что в русле самых изменчивых течений образует некое количество совершеннейших жемчужин, больших и малых, из которых самые отборные, самые удачные никогда уже не возвращаются обратно в зыбкую стихию, откуда были некогда извлечены. Именно это должно поддерживать и утешать художников в бурные эпохи. Они всегда имеют возможность что-то создать; много ли, мало — не в этом дело, важно, чтобы это «что-то» было отборным и чтобы в одном из его уголков была тщательно выгравирована печать вечности.

Вот что нам необходимо было сказать себе, прежде чем в качестве литературного критика вернуться к углубленному исследованию искусства, к тщательному изучению великих деятелей прошлого; нам кажется, что, несмотря на все, что разразилось в нашем мире и что все еще вызывает его волнение, писать портреты Ренье, Буало, Лафонтена или Андре Шенье — словом, одного из тех людей, которые являются редким явлением в любую эпоху, нынче дело не менее серьезное, чем оно было в прошлом году; и, принимаясь на сей раз за портрет Дидро, философа и художника, внимательно приглядываясь к этому столь обаятельному в личном общении человеку, наблюдая за тем, как он говорит, прислушиваясь к сокровенным его мыслям, мы не только познакомимся с еще одним великим мужем, но и отвлечемся хоть на несколько дней от прискорбного зрелища окружающего нас мира, от всей этой нищеты и непокорства масс, от всепоглощающего эгоизма, от смутной тревоги высших слоев, от этих правительств, не имеющих ни идей, ни величия, от уничтожения героических наций, от сознания, что патриотизм утрачен, угасает и ничто великое не идет ему на смену, а религия отброшена на прежнее свое ристалище, откуда

ей предстоит вновь завоевывать мир, что будущее туманно, а берегов еще не видно.

Не совсем так обстояло дело во времена Дидро. Разрушительное начало впервые стало тогда вторгаться в жизнь в виде философских и политических теорий. Несмотря на временные затруднения, задача представлялась весьма несложной; препятствия казались легко преодолимыми, и люди шли на приступ с замечательным единодушием и в чаянии чего-то непосредственно близкого, легко достижимого и в то же время беспредельного. Из всех людей восемнадцатого века Дидро, о котором судят столь различно, как раз и выражал с наибольшей полнотой философский бунт во всех его наиболее общих и наиболее противоречивых чертах. Политика мало занимала Дидро, он предоставил ее Монтескье, Жан-Жаку и Рейналю; зато в области философии он стал как бы духом и голосом всего столетия, его главным и ведущим теоретиком. Жан-Жак был спиритуалистом, подчас даже каким-то кальвинистом социнианского толка *: он отрицал искусства, науки, промышленность, способность к прогрессу и во всех этих областях скорей отталкивался от своего века, нежели выражал его мнение. С самых разных точек зрения он выглядел исключением в этом распущенном материалистическом и ослепленном своими собственными познаниями обществе. Даламбер был человеком благоразумным, осмотрительным, трезвым и умеренным в своих теориях, по характеру же слабым и робким, сомневающимся во всем, что выходило за пределы геометрии, всегда располагающим двумя мнениями, одним для публики, другим для себя; это был философ школы Фонтенеля; а восемнадцатый век отличался отважно поднятым ввысь челом, нескромной речью, верой в неверие, обилием споров, но щедрой рукой рассыпал истины и заблуждения. У Бюффона не было недостатка веры в себя и в свои идеи, но он не разбрасывался ими; он вырабатывал их в одиночестве и лишь время от времени выпускал в свет, облеченными в пышную форму, великолепие которой, по его мнению, обеспечивало им победу. А ведь восемнадцатый век по праву слыл расточителем идей, непринужденным и решительным — он отнюдь не чурался затрапезного беспорядка в одежде, а когда, бывало, он еще взвинтит себя в

остроумном салонном споре аргументами за и против существования бога, тогда, черт возьми! этот милый век, подобно аббату Галиани, не стеснялся запросто скинуть парик и повесить его на спинку кресла.

Кондильяк, столь превознесенный после смерти за свои тонкие и остроумные критические разборы, не жил в гуще своего времени и ни в какой мере не выражал его духовного изобилия, воодушевления и страсти. Некоторые прославленные мужи с уважением ссылались на него; другие считали его малозначительным. В целом им занимались немного; он почти вовсе не пользовался влиянием. Умер он в одиночестве, впадши в маразм, сопровождаемый утратой памяти. Судить о философии восемнадцатого века по Кондильяку — значит заранее свести все ее богатство к скудной и хилой психологии. В действительности же, независимо от нашего отношения к ней, эта философия была гораздо более могучей, Кабанис и г-н де Траси, которые как бы из риторической предосторожности много раз настаивали на своем идейном происхождении от Кондильяка, по метафизическим решениям вопросов происхождения и цели, субстанции и причинности, по физиологическим определениям строения организма и природы чувствительности, гораздо более непосредственно связаны с Кондорсе, с Гольбахом, с Дидро; Кондильяк же как раз ничего не говорил по поводу этих загадок, на которых была сосредоточена любознательность всей его эпохи. Что же касается Вольтера, неутомимого вожака с его поразительной способностью к действию и, в этом смысле, практического философа, то он мало заботился о том, чтобы создать или хотя бы постичь всю метафизическую теорию того времени; он старался придерживаться самого ясного, заниматься самым неотложным, преследовать самую непосредственную цель, не растрачивая впустую ни одного из ударов и, подобно парфянину, тревожа людей и богов своими свистящими стрелами. В своем безжалостно трезвом остроумии он доходил до того, что легкомысленно высмеивал труды своей эпохи, с помощью которых физики и физиологи стремились прояснить тайну строения организма. После теодицеи * Лейбница одной из самых смехотворных выдумок считал он угрей Нидхэма *. Таким образом, гению, которому суждено было

воплотить в себе тягу века к философии, необходимо было обладать умом более терпеливым, более серьезным и глубоким, нежели Вольтер, менее ограниченным и не столь односторонним, чем Кондильяк; у него должно было быть больше духовной щедрости, самобытности и устойчивого вдохновения, чем их было у Бюффона, больше размаха и пылкой решимости, чем у Даламбера; от него требовалась восторженная влюбленность в науки, искусства и промышленность, которой не обладал Руссо. Таким человеком стал Дидро. Дидро — богатая и плодovitая натура, восприимчивая ко всяким росткам нового, оплодотворившая их в своем лоне и преображавшая их почти наугад своей стихийной и смутной силой; огромный, бурлящий тигель, где все плавится, дробится, бродит; самый энциклопедический ум того времени, и притом ум активный, одновременно пожирающий и животворящий, одухотворяющий, схватывающий все, что попадаете по пути, а затем извергающий все это обратно в виде огненной лавы, а иной раз и дыма; Дидро, умевший переходить от чулочной машины — он разбирает ее на части и описывает — к тиглям Гольбаха и Руэля, к соображениям Бордэ; * способный расчленить человека и его чувства так же искусно, как и Кондильяк; расщепить, не причинив ей вреда, тончайшую волосяную нить и тут же вернуться в лоно проблем бытия, пространства, природы, то и дело выкраивая из тела гигантской метафизической геометрии огромные куски — возвышенные, блистательные страницы, под которыми с гордостью подписались бы Мальбранш или Лейбниц, не будь они верующими христианами; ум изощренный, дерзостный, полный смелых догадок, переходивший от фактов к мечтам, от величия к цинизму, нравственный даже в грехах своих, немного мистик, несмотря на свое неверие, человек, которому, как и его веку, не хватало для полной гармонии лишь божественного проблеска, *fiat lux*¹, регулятивного принципа, бога².

¹ Да будет свет (*лат.*).

² Гримм уже сравнивал голову Дидро с природой * в его собственном понимании, богатой, плодоносной, кроткой и дикой, простой и царственной, доброй и возвышенной, но лишенной какого-либо организующего начала, лишенной господина и лишенной бога.

Таким должен был быть в восемнадцатом веке человек, призванный возглавить философский цех, вождь непокорного стана мыслителей, способный организовать его на добровольной основе, объединить без принуждения, своим собственным пылким воодушевлением втянуть в заговор против существующего правопорядка. Дидро стал связью между Вольтером, Бюффеном, Руссо и Гольбахом, между химиками и светскими остроловами, между геометрами, механиками и литераторами, между литераторами и художниками — скульпторами или живописцами, между приверженцами старых вкусов и новаторами вроде Седена. Это он, лучше чем кто бы то ни было, понимал их — всех вместе и каждого в отдельности, — с великой охотой признавал их заслуги, снисходительно носил их в своем сердце, совершенно бескорыстно, без тени высокомерия переходя от одного к другому. Вот почему именно он смог стать их организующим центром, их стержнем, вот почему он сумел повести за собой на штурм весь этот отряд таким единоклубным и воодушевленным, придав нечто величественное его беспорядочному движению вперед. Большая, слегка лысеющая голова, высокий лоб, не заросшие волосами виски, сверкающий или увлажненный крупной слезою взор, голая, или, как он сам говорил, «небрежно открытая шея», сутулая, но крепкая спина, руки, простертые к будущему; смесь величия и тривиальности, необузданной порывистости, человечности и доброжелательства; таким, каков он был на самом деле, а не таким, каким искаженно изображали его Фальконе и Ванлоо, я представляю себе Дидро в умственном движении века, достойным предшественником тех людей действия, у которых с ним так много общего, тех вождей, чей авторитет был лишен спеси, а героизм забрызган грязью, славных, несмотря на их пороки, гигантов в битве, оказавшихся, в сущности, лучше, чем их собственная жизнь: Мирабо, Дантона, Клебера.

Дени Дидро родился в Лангре в октябре 1713 года, в семье ножовщика. На протяжении двухсот лет эта профессия передавалась в семействе от отца к сыну, наряду со скромными добродетелями, набожностью, а также взглядами и представлениями о чести, свойственными прежнему времени. Молодой Дени, старший

из детей, предназначался сперва к духовному званию, которое он должен был унаследовать от деда-каноника. Он был рано отправлен в местный иезуитский коллеж, и там вскоре проявились его способности. Эти ранние годы жизни в лоне семьи и детства — он впоследствии любил вспоминать эти годы и посвятил им немало строк в своих сочинениях — оставили глубокий след в его душе. В 1760 году в Грандвале, у барона Гольбаха, где он делил свое время между приятнейшим обществом и статьями по древней философии, которые он редактировал для Энциклопедии, Дидро со слезами умиления вспоминал свое прошлое. Поднявшись, мысленно, вверх по Марне, своей «унылой и извилистой землячке», которая открылась его взору там, у подножья холмов Шеневьер и Шампиньи, и паря душой в воспоминаниях, Дидро писал своей подруге м-ль Во-лан: «Одним из счастливейших моментов моей жизни (меня отделяет от него свыше тридцати лет, а я помню все, как будто это произошло вчера) была минута, когда отец мой увидел меня возвращающимся из коллежа с целой охапкой полученных наград и венками, которые, слишком большие для меня, соскользнув с головы, лежали на моих плечах. Еще издали завидев меня, он прервал работу, подошел к двери и заплакал. Как прекрасно, когда честный и суровый человек плачет!» * Г-жа Вандэль, единственная и столь горячо любимая им дочь, сохранила для нас несколько анекдотов о детстве своего отца, которые мы не станем повторять и которые все свидетельствуют о живости воображения, порывистости, неизменной отзывчивости его юной и рано развившейся натуры. Дидро, и этим он выделяется среди великих людей восемнадцатого столетия, — имел «семью», семью совершенно буржуазную, которую нежно любил и к которой неизменно питал самую горячую, сердечную и счастливую привязанность. Уже будучи модным философом и знаменитостью, он никогда не забывал о своем славном отце, которого называл «кузнецом», о брате-священнике, о рачительно ведущей дом сестре, о своей милой дочурке Анжелике: он увлекательно рассказывал о них обо всех, он не успокоился, пока его друг Гримм не поехал в Лангр, чтобы обнять этого старого отца. Ничего подобного, конечно, не удалось бы подметить у Жан-Жака, у Даламбера (что

вполне понятно) *, у графа Бюффона, у того же г-на Де Гримма или у г-на Аруэ де Вольтера.

Иезуиты стремились привлечь к себе Дидро; мальчиком он одно время проявлял склонность к благочестию; к двенадцати годам ему выбрили тонзуру и однажды даже попытались увести его из Лангра, чтобы затем распорядиться им по своему усмотрению. Этот инцидент побудил его отца отправить Дени в Париж, где его определили в коллеж Гаркур. Здесь юный Дидро проявил себя примерным учеником и превосходным товарищем. Рассказывают, что он в ту пору неоднократно обедал вместе с аббатом Берни в дешевой харчевне, где обед стоил всего шесть су¹. По окончании занятий Дидро поступил на службу к своему земляку, прокурору Клеману де Ри, намереваясь изучать законы и право, однако занятие это ему наскучило довольно быстро. Отвращение к крючкотворству привело его к ссоре с отцом, который стремился обуздать сына, смирит систематическими занятиями эту столь порывистую натуру и предложил ему на выбор либо определиться куда-нибудь на службу, либо вернуться под отчий кров. Однако юный Дидро уже почувствовал свои силы, и непреодолимое призвание влекло его прочь с проторенных путей. Он дерзнул ослушаться своего доброго отца, которого так глубоко уважал, и, лишившись его поддержки, порвав с семьей (только мать, тайком и нерегулярно, помогала ему), поселился один в какой-то конуре, обедая не дороже чем за шесть су в день, дабы, ни от кого более не завися, продолжать свое образование. Он с увлечением занимался геометрией и греческим языком, мечтал о славе на театральном поприще. В ожидании этой славы он рад был всякой работе. В то время не существовало профессии журналиста в нынешнем нашем понимании, а то бы он непременно стал журналистом. Однажды некий миссио-

¹ В предисловии, предпосланном «Дополнению к Письму о глухих и немых», Дидро утверждает, что никогда не имел чести видеть господина аббата де Берни; но это не более как уловка. Предполагалось, что Дидро не является автором указанного «Письма»; мы же, в качестве добросовестного биографа, должны заявить, что анекдот о веселых обедах за шесть су, в которых участвовали юный философ и будущий кардинал, не кажется нам, вследствие этого, менее заслуживающим доверия.

нер заказал ему шесть проповедей для (Португальских колоний, и Дидро тут же их изготовил. Попробовал он стать воспитателем в доме богатого финансиста, но уже через три месяца зависимое положение показалось ему невыносимым. Самым надежным средством к жизни стали для него уроки математики: объясняя ее другим, он учился сам. С удовольствием читаешь в «Племяннике Рамо» про «серый плюшевый сюртук», в котором он прогуливался «летом по Люксембургскому саду, в алее Вздохов», так и видишь, как, выйдя оттуда, он шагает по парижской мостовой «с обтрепанными манжетами, в черных шерстяных чулках, заштопанных сзади белыми нитками». И если он с таким сожалением и так красноречиво вспоминал впоследствии свой старенький халат, как же должен был бы он сожалеть об этом плюшевом сюртуке, напоминавшем ему юные годы нужды и лишений! С какой гордостью повесил бы он его в своем кабинете, убранном с непривычной еще роскошью! У него были бы все основания воскликнуть, глядя на эту столь памятную для него вещь (а он любил реликвии): «Он напоминает мне о начале моего пути, и тщеславие уже не смеет переступить порога моего сердца. Нет, друг мой, нет, я не испортился. Двери моего дома всегда откроются перед бедняком, который постучится в них, я встречу его так же ласково, как бывало. Душа моя не очерствела, голову я не задираю вверх — спина моя по-прежнему крепка, хоть и сутула, я все такой же чистосердечный и такой же чувствительный, а вся эта роскошь пришла ко мне недавно, и я еще не отравлен ею» *. И чего бы только не сказал он еще, если бы этот сюртук оказался тем самым, который был на нем в незабываемый день масленицы, когда его, изнуренного ходьбой, вставшего в глубокое отчаяние, изнемогающего от недоедания, поддерживала жалостливая хозяйка постоянного двора, и он поклялся, что, покуда есть у него хоть грош в кармане, он никогда не откажет бедняку и скорей пожертвует последним, чем обречет ближнего своего на день подобных мучений.

В этот неустойчивый период жизни он проявлял благонравие, которого трудно было бы от него ожидать; судя по признанию, сделанному им м-ль Волан *, у него рано появилось отвращение к легкомысленным и

небезопасным развлечениям. Этот всеми заброшенный, нуждающийся и пылкий юноша, чье перо впоследствии доставит ему репутацию непристойного писателя * я который, по собственному его признанию, неплохо знал Петрония, а из нечистых мадригалов Катулла три четверти без стеснения цитировал наизусть, — этот юноша устоял перед соблазнами порока и в возрасте, полном самых неистовых страстей, сумел сохранить сокровища чувств и иллюзии сердца, Этим он обязан был любви. Та, которую он полюбил, была благородной девицей из обедневшего семейства и жила вместе с матерью честным трудом своих рук. Дидро, на правах соседа, познакомился с ней, без памяти влюбился, добился у нее благосклонности и женился, вопреки предостережениям ее матери, напомиравшей им об их бедности. Брак этот он, правда, держал в секрете, чтобы не вызвать противодействия со стороны собственного семейства, которое, питаясь непроверенными слухами, пребывало в заблуждении на этот счет.

Жан-Жак в своей «Исповеди» * весьма презрительно отзывается об Аннете Дидро, считая, что его Тереза лучше. Не вмешиваясь в этот спор о двух подругах великих людей, отметим лишь, что, по-видимому, г-жа Дидро, будучи, в общем, женщиной неплохой, действительно отличалась вздорным нравом, банальным умом и дурным воспитанием; она не способна была понять своего супруга и удовлетворить его духовные запросы. Однако все эти неприятные качества, раскрывшиеся лишь со временем, в то время отступали перед блеском ее красоты. У нее было от Дидро четверо детей, из которых выжила только одна дочь. После рождения одного из них Дидро отправил молодую супругу, разумеется, вместе с младенцем, к своему отцу, в Лангр, чтобы добиться примирения с ним. Этот патетический жест возымел должное действие, и многолетние предубеждения рассеялись в течение суток. Между тем, изнемогая под гнетом свалившихся на него новых обязанностей, вынужденный напряженно работать, переводя для книготорговцев некоторые английские книги, «Историю Греции», «Медицинский словарь» *, и уже втайне лелея замысел «Энциклопедии», Дидро очень скоро разочаровался в женщине, ради которой обременил свое будущее столь тяжкими заботами. Г-жа де

Пюизьё (другая его ошибка), связь с которой длилась десять лет, затем, на протяжении всей второй половины жизни, м-ль Волан — единственная, оказавшаяся достойной его выбора, и некоторые другие, более мимолетные привязанности вроде г-жи де Прюнво, — вот женщины, общение с которыми стало как бы основой его внутренней жизни. Первой была г-жа де Пюизьё; охотница до нарядов, еле сводившая концы с концами, она еще усугубила денежные затруднения Дидро; это ради нее он перевел «Опыт о Заслугах и Добродетели» *, написал «Философские мысли», «Истолкование природы», «Письмо о слепых» и «Нескромные сокровища» — дар не столь ученый, но более подходивший к случаю. Г-жа Дидро, после того как супруг стал ею пренебрегать, замкнулась в кругу своих не слишком возвышенных интересов; у нее был свой небольшой мирок, свое окружение, и Дидро в дальнейшем поддерживал с ней отношения только в связи с воспитанием дочери. Эти обстоятельства делают нам более понятным, почему тот, кто более всех других философов этого века чувствовал и свято чтит семейные связи, кто так усердно относился к обязанностям отца, сына, брата, обладал в то же время столь хрупкими представлениями о святости брака, этих главных уз, скрепляющих все остальное. Легко догадаться, какие личные переживания заставили его в «Дополнении к Путешествию Бугенвиля» * вложить в уста таитянина такие слова: «Что может показаться бессмысленнее, чем закон, воспрещающий те изменения, которые происходят в нас самих; предписывающий постоянство; насилующий свободу мужчины и женщины, навсегда приковывая их друг к другу; чем верность, которая ограничивает прихотливейшее из наслаждений одним партнером; чем клятва в неизменности чувств, которую дают два существа из плоти и крови перед лицом неба, которое само меняется каждое мгновение; под сводами, грозящими рухнуть; у подножья скалы, рассыпающейся в прах; под листвой уже надломившегося дерева; на земле, подверженной землетрясениям?» Таков уж был своеобразный удел Дидро, впрочем, вполне объяснимый его наивной и заразительной восторженностью, которая заставила его на протяжении всей своей жизни испытывать и внушать чувства, столь несоизмеримые с истин-

ными качествами тех, на кого они были направлены. Его первая, самая пылкая любовь навсегда приковала его к женщине, которая на самом деле совершенно не годилась ему в подруги. Самая горячая его дружеская привязанность, столь же страстная, как и любовь, была направлена на Гримма, тонкого остроумца, иронического, приятного, но обладавшего сухим и эгоистичным сердцем. Наконец самое пылкое восхищение, которое ему когда-либо удалось внушить, исходило от Нэжона, этого ученика-идолопоклонника, педеля атеизма, столь же фанатически поклонявшегося своему философу, как Броссет своему поэту *. Жена, друг, ученик — Дидро постоянно обманывался в своем выборе: даже Лафонтен был в этом отношении удачливее, чем он. Впрочем, если не считать истории с женой, вряд ли сам Дидро когда-либо догадывался о своих ошибках.

Всякий богато одаренный человек, явившийся в эпоху, когда дар его имеет возможность проявиться, обязан отблагодарить ее и все человечество таким творением, которое отвечало бы главнейшим нуждам века и способствовало бы прогрессу. Каковы бы ни были его личные вкусы, устремлен ли он к другим занятиям или склонен к лениости — долг его перед обществом воздвигнуть этот памятник своему времени, иначе он изменит своему призванию, а талант его окажется растратченным впустую. Монтескье своим «Духом законов», Руссо — «Эмилем» и «Общественным договором», Бюффон — «Естественной историей», Вольтер всей совокупностью своих работ подтвердили этот непреходящий для гения закон, в силу которого он обязан посвятить себя прогрессу человечества; Дидро, какие бы недостаточно продуманные суждения ни высказывались на этот счет, также не нарушил этого закона ¹.

¹ Эти строки следует рассматривать как частичный отказ от моих собственных высказываний, как поправку к тому, что я ранее писал на страницах «Глоб», в статье *, из которой я привожу здесь начальный отрывок: «В «Вертере» имеются строки, всегда поражавшие меня своей верностью: Вертер сравнивает гения, шествующего, сквозь свое время, с полноводной рекой, быстротекущей, с изменчивым уровнем вод, порой выступающих из берегов; по обоим берегам этой реки живут честные землевладельцы, осмотрительные и здравомыслящие люди, заботливо ухаживающие за своими огородами или грядками тюльпанов, постоянно тревожась, как бы река не вышла из берегов и не разрушила их скромное благополучие;

Обычно ему ставят в заслугу забавные фантазии, выпады, полные несравненного остроумия, живые зарисовки, щедрые вклады в чужие произведения, потерявшиеся под именами его друзей, его дар романиста, его письма, «разговоры», очерки, «заметки», как он их называл, по существу же, маленькие шедевры, его набросок о женщинах, «Монахиню», госпожу де Ла-Помрэ, мадемуазель Ла-Шо, госпожу де Ла-Карльер, наследников юре де Тиве *, — но мы считаем своим долгом закрепить за ним гражданский его подвиг, его монументальное творение — Энциклопедию!

По первоначальному плану это должен был быть всего лишь исправленный и дополненный перевод английского словаря Чалмерса *, обычное книготорговое предприятие. Эту идею Дидро оплодотворил новым,

они сговариваются между собой и, проведя по обеим сторонам реки отводные каналы, выкапывают канавы и стоки; а наиболее ловкие даже используют эти отведенные воды для орошения своих участков или строят себе рыбные садки, пруды, кому что вздумается. Этот подсознательный, подсказываемый общими интересами сговор людей здравого смысла и трезвого рассудка против высшего гения нигде не проявился с такой очевидностью, как в отношениях Дидро с его современниками. Это был век критики и разрушения, когда заботились не столько о том, чтобы противопоставить гибнущим идеям какие-то законченные, продуманные, беспристрастные системы, в которых новые идеи — философские, религиозные, моральные и политические — строились бы в согласии с наиболее общими и наиболее истинными принципами, сколько о том, чтобы разбить и ниспровергнуть то, чего больше не желали терпеть, во что больше не верили и что тем не менее все еще существовало. Напрасно великие умы эпохи, Монтескье, Бюффон, Руссо, пытались подняться до создания возвышенных моральных или научных теорий; либо они вдавались в бесплодные химеры, в возвышенные утопические мечтания; либо, изменив своим намерениям, сами того не желая, всякий раз вновь подпадали под власть фактов и принимались обсуждать их, пробиваться сквозь них, вместо того чтобы создавать нечто новое. Один Вольтер умел отделять сущее от должного; он знал, чего хотел, и сделал все то, чего хотел.

По-иному обстояло дело с Дидро, который не обладал подобного рода критическим складом ума и, неспособный обречь себя на одиночество, подобно Бюффону и Руссо, почти всю свою жизнь ставил себя в ложное положение, вечно отвлекаясь и всячески, всевозможными путями растрачивая свои огромные способности. Он весьма напоминал ту реку, о которой говорил Вертер; полноводный и глубокий, он дал отвести свои воды во все эти боковые каналы и канавки, почти иссякнув в основном своем русле. Нужда и заботы, поразительно общительный характер, неслыханная расточительность в жизни и в беседе, товарищество энциклопедистов и философов — все это постоянно истощало самого метафизически мысляще-

смелым замыслом — создать универсальный свод всех человеческих знаний своего времени. На это ему потребовалось двадцать пять лет. Он был, в сущности, краеугольным камнем, живым фундаментом всего этого сооружения возводимого здания, а также мишенью всех нападков и преследований, которые обрушивались на Энциклопедию. Даламбер, который был связан с этим предприятием главным образом общностью интересов и в своем остроумном предисловии приписал себе слишком многое из их общей славы, в расчете на тех, кто читает одни только предисловия, дезертировал, покинув дело в самом его разгаре и предоставив Дидро одному отбиваться от остервенелых святош и малодушных книгоиздателей, вдобавок взвалил на него колоссальную работу по редактированию. Благодаря своему изумительному трудолюбию, универсальности познаний, многообразию талантов, развившихся в нем в первые трудные годы, и прежде всего благодаря особому душевному дару, позволившему ему собрать вокруг себя сотрудников, вдохновить и воодушевить их, он смело

го и самого художественно одаренного из гениев эпохи. Grimm в «Литературной переписке», Гольбах в своих атеистических проповедях, Рейналь в «Истории двух Индий» * ответили себе на пользу не одну артерию этой великой реки, около которой ютились на правах прибрежных жителей. Дидро, добряк по натуре, расточал себя ради всех и каждого, он знал, что его с избытком хватит на всех, и разрешал себе подобное мотовство, довольствуясь тем, что подает идеи, и мало заботясь о том, как они используются. Он предавался своей интеллектуальной склонности и был неистощим. Вся его жизнь так и прошла; он мыслил, прежде всего мыслил, мыслил всегда и повсюду, затем высказывал свои мысли в письмах к друзьям, возлюбленным, разбрасывал их в газетных статьях, в статьях для «Энциклопедии», в своих неотшлифованных романах, в записях, в заметках по частным поводам; и, самый синтезирующий гений своего века, он не оставил по себе памятника.

Вернее, памятник этот существует, но лишь во фрагментах; и так как на всех этих разрозненных фрагментах оставил отпечаток неповторимый и содержательный ум, внимательный читатель, который станет читать Дидро так, как он того заслуживает — с симпатией, любовью и восхищением, легко восстановит то, что рассеяно в мнимом беспорядке, завершит незавершенное, чтобы в конце концов окинуть единым взглядом творение этого великого человека, увидеть каждую черточку этого могучего человека, доброжелательного и смелого, оживленного улыбкой, с высоким челом мыслителя, и горячим сердцем; самого немецкого из наших умов, в котором слились воедино Гете, Кант и Шиллер.

достроил это здание, подавляющее своими размерами и в то же время такое стройное; и если уж искать имя его строителя, то это — имя Дидро.

Дидро, лучше, чем кто бы то ни было, понимал недостатки своего творения, даже преувеличивал их; разделяя заблуждения своей эпохи и считая себя рожденным для искусства, для математики, для театра, он неоднократно оплакивал свою жизнь, понапрасну отданную предприятию, выгоды которого были столь ничтожны, а репутация столь сомнительна. Я не отрицаю, что он обладал великолепными способностями в области математики и искусства, но не подлежит сомнению, что в тех обстоятельствах — в условиях совершавшегося в науке великого переворота, который, начавшись, как это отмечал сам Дидро, в области математики и метафизического созерцания, распространился далее на сферу морали, на изящную словесность, естественную историю, экспериментальную физику и технику (да еще искусство в восемнадцатом веке уводилось от его высоких целей на ложный путь, опускаясь до роли рупора философии или орудия борьбы) — в этой обстановке трудно было бы найти более полезное, более достойное и увековечивающее его имя применение могучим способностям Дидро, нежели создание Энциклопедии. Этим просветительным произведением он служил и способствовал тому перевороту, который сам возвестил в науке. Я знаю, впрочем, какие суровые и относящиеся ко всей эпохе упреки могут умалить эту хвалу, и сам готов подписаться под ними, но подвергать осуждению тот антирелигиозный дух, который господствовал в Энциклопедии и во всей тогдашней философии, исходя исключительно из нашей теперешней точки зрения, значит, совершить ту же несправедливость, в которой мы вправе упрекнуть его. Лозунг той эпохи, ее боевой клич: «Раздавим гадину!» *, представляющийся нам таким решительным и непреклонным, уже сам по себе требует разбора и объяснения. Прежде чем упрекать философов в том, что они не поняли подлинного и вечного христианства, глубокой и истинной доктрины католицизма, следует припомнить, что христианство было сдано тогда на откуп, с одной стороны, погрязшим в интригах и светских делах иезуитам, а с другой стороны, воинствующим и мрачным

янсенистам; что эти последние, засевши в судилищах, осуществляли уже здесь, в этом мире, свои фаталистические и мрачные доктрины о божьей благодати, используя для этого своих палачей, допросы, пытки и создавая для еретиков на дне тюремного каменного мешка страшную бездну Паскаля *. Вот где скрывалась та «гадина», которая изо дня в день клеветала философам на христианство, узурпировав его имя, та подлинная «гадина», которую философии удалось «раздавить» в борьбе, похоронив в общем крушении и самое себя. Дидро, по-видимому, особенно оскорблял — еще со времени его первых «Философских мыслей» — тот тиранический и причудливо жестокий облик, в котором христианский бог предстал в учении Николя, Арно и Паскаля *. Во имя поруганной человечности и священного сострадания к своим ближним и ринулся он на путь смелой критики, где полемический задор не давал ему уже остановиться на полпути. Так было с большинством проповедников неверия: в основе его один и тот же, объединявший их, благородный протест. Энциклопедия, следовательно, была не мирным памятником, не тихой монастырской башней, населенной учеными и мыслителями всякого толка, не гранитной пирамидой, покоящейся на незыблемом фундаменте; она непохожа была на те гармоничные, стройные творения зодческого искусства, которые неторопливо возводили в благочестивые века, устремляя их ввысь, к обожаемому, благословенному богу. Ее сравнивали с нечестивой вавилонской башней; мне она скорее напоминает боевую башню — одну из тех огромных, исполинских чудовищных осадных машин, какие описывал Полибий, какие рисовались воображению Тассо. Мирное древо Бэкона приняло здесь образ грозной катапульты *. Видны разрушенные неровные участки, множество строительных обломков, сцементированных и не поддающихся разрушению кусков. Фундамент не погружен в землю: сооружение перемещается, оно подвижно; оно рухнет; но разве это важно? Применим здесь выразительный образ самого Дидро: «Изваяние зодчего устоит и среди развалин, и камень, запущенный с горы, не сокрушит его, ибо ноги у него не глиняные».

Атеизм Дидро, при всем том, что он, к сожалению, иногда хвастливо им кичился, давая возможность сво-

им противникам безжалостно ловить себя на слове, чаще всего сводится к отрицанию некоего злобного мстительного бога, созданного по образу и подобию палачей Каласа и де Ла-Барра. Дидро неоднократно возвращался к идее бога, которую трактовал благодушно, в духе не слишком воинствующего скептицизма. Так, например, в беседе с маршальшей де Брولль речь идет о юном мексиканце*, который, устав от своих трудов, как-то, прогуливаясь по берегу Великого океана, увидел доску, одним своим концом погруженную в воду, а другим лежавшую на берегу; он ложится на нее и, покачиваемый волнами, устремив взоры в бесконечную даль, вспоминает сказки, которые он слышал от своей старой бабушки о некоей неведомой стране по ту сторону океана, населенной будто бы какими-то удивительными существами, сказки, в которые он не верит, которые представляются ему нелепым вздором. Между тем покачивание и мечтания погружают его в сон, доска отрывается от берега, ветер усиливается, и вот уже юный философ оказывается во власти волн. Просыпается он уже в открытом море, и тут в его душу проникает сомнение: а что, если он заблуждался в своем неверии? Что, если бабушка права? Что ж, — добавляет Дидро, — она и впрямь была права. Юноша плывет дальше и доплывает до незнакомого берега. Навстречу ему выходит старец, властитель этой страны. Если он даст безрассудному юноше легкий подзатыльник и с улыбкой дернет его за ухо — достаточна ли такая кара за его безверие? Или, может быть, этот старец схватит его за волосы и целую вечность станет волочить его по берегу? ¹ А в письме к м-ль Волан он

¹ Во втором томе «Опытов» Николя* мы читаем: «Когда я с ужасомзираю на безрассудные и беспутные дела множества людей, ведущие их к вечной гибели, мне представляется страшный остров, окруженный обрывистой бездной, неразличимой в густом тумане; огненный поток ожидает каждого, кто падает с вышины в бездонную пропасть; все дороги и все тропы приводят к обрыву, и только одна узкая и едва заметная тропинка выводит путника на мост, позволяющий ему миновать огненный поток и найти путь к свету и безопасности. На этом острове находится бесчисленное множество людей, которые все должны безостановочно идти вперед. Неистовый вихрь подгоняет их, не давая им остановиться. Их предупредили только, что все дороги ведут в пропасть; что есть лишь один путь, который сулит спасение, и что этот единственный путь

рассказывает об одном монахе, человеке учтивом и отнюдь не ханже, с которым довелось ему обедать у своего друга Дамилавия. Разговор шел об отцовской любви. Дидро сказал, что это одно из сильнейших человеческих чувств: «Сердце отца! о, только тот, кто сам был отцом, знает, что оно испытывает. К счастью, этого не знает больше никто, даже дети»*. Далее я сказал: «Первые свои годы в Париже я жил не слишком упорядоченной жизнью. Мое поведение и само по себе давало отцу достаточно оснований гневаться на меня. А тут еще не было недостатка и в клевете. Ему говорили... да чего только тогда не говорили ему обо мне! Но вот мне представился случай повидаться с ним. Я не стал колебаться. Я был совершенно уверен в его доброте. Я думал: вот он увидит меня, я брошусь ему в объятия, мы оба поплачем и все будет забыто. И я оказался прав...» Тут я остановился и спросил у моего монаха, известно ли ему, каково расстояние отсюда до нашего дома: «Шестьдесят лье, отец мой, а если бы их было сто, вы думаете, мой родитель встретил бы меня менее ласково и был бы менее снисходителен? Наоборот! — А если бы их было тысяча? — Ах! как можно плохо встретить сына, проделавшего столь дальний путь? — А если бы он вернулся с луны, с Юпитера, с Сатурна?..» При этих словах я поднял глаза к небесам,

весьма нелегко распознать. Однако, невзирая на все предостережения, не помышляя о том, чтобы искать благословенную тропу, не пытаясь разузнать о ней, эти несчастные стремительно пускаются в путь, как если бы они в совершенстве знали дорогу. Их занимают лишь заботы о снаряжении, жажда командовать своими попутчиками в этом злосчастном странствии да поиски случайных развлечений в пути. Так они незаметно достигают края бездны, и огненный поток поглощает их навеки. Лишь горсточка мудрецов заботливо ищет свою тропу, а найдя ее, с великой осмотрительностью следует по ней и, перебравшись через поток, достигает наконец места, где ее ждет безопасность и покой»¹. Образ, созданный Николею, не утешителен; в главе V трактата «О страхе божьем» можно найти другую сцену «духовной резни», в которой с не меньшей силой звучит то, что по праву называют терроризмом благодати: можно предположить, что Дидро наткнулся на эту мрачную концепцию человечества и что ему захотелось, в свою очередь, в образах острова и океана, создать антитезу к картине Николя.

¹ У Паскаля также мир сравнивается с пустынным островом, и люди там такие же *несчастные и заблудшие*. (Прим. автора.)

а мой монах потупил взор, задумавшись над моей притчей».

Свои мысли о сущности, причинах и происхождении вещей Дидро высказывал в своем «Истолковании природы» устами Баумана — в котором выведен не кто иной, как Мопертюи, — а еще более отчетливо в «Разговоре с Даламбером» и том странном «Сне»*, который он приписал этому философу. Достаточно будет сказать, что материализм его — это не сухой геометрический механицизм, а не до конца определившийся, плодотворный и могучий витализм*, находящийся в непрерывном, все растущем внутреннем брожении и видящий в мельчайшем атоме постоянное присутствие невыявленной или явной чувствительности. Это был витализм Бордэ и физиологов, та самая точка зрения, которую впоследствии столь красноречиво выразил Кабанис. Судя по тому, как Дидро воспринимал внешний мир, «естественную», так сказать, природу, еще не изуродованную, не фальсифицированную опытами ученых, — деревья, реки, прелесть полей, гармонию небесного свода и воздействие ее на человеческую душу, — он, по всему своему складу, должен был быть человеком глубоко религиозным, ибо ни у кого другого мы не встречаем такого живого сочувствия, такого интереса к жизни вселенной. Но только эту жизнь природы и живых существ он охотно оставляет необъясненной, зыбкой и, так сказать, рассредоточенной вне его, скрытой в зародышах, циркулирующей вместе с воздушными течениями, парящей над лесными вершинами, улетающей с порывом ветра; он не собирает ее в единый центр, не идеализирует ее в сияющем образе властного и бдительного Провидения. И, однако, в «Опыте о жизни Сенеки»*, сочинении, над которым он работал в старости, за несколько лет до смерти, он охотно переводит следующий отрывок из восхитившего его послания к Луцилию*: «Когда взору твоему открывается обширный лес, полный древних деревьев, вздымающих свои вершины до облаков и заслоняющих небо своими сплетенными ветвями, эта безмерная высь, эта глубокая тишина, эти тенистые громады, которые на расстоянии кажутся еще более густыми и непроницаемыми, разве эти приметы не есть знамение присутствия божьего?»* Слово «знамение» подчеркнуто са-

мим Дидро. Я был искренне рад, найдя в этом же сочинении суждение о Ламетри, свидетельствующее о том, что Дидро несколько позабыл, как видно, собственные крайности в области морали и философии и, более того, относится с отвращением и явным осуждением к материализму безнравственному, развратительному. Мне приятно, что он упрекает этого философа в отсутствии элементарных представлений об истинных основах морали «сего гигантского дерева, вершиной своей достигающего небес, а корнями проникающего до преисподней, на коем все переплелось, а стыдливость, благопристойность, учтивость, эти самые необременительные из добродетелей, — если только они могут быть таковыми, — подобны листьям, и оборвать их — значит подвергнуть поруганию все дерево» *.

Это напоминает мне тот спор о добродетели, который завязался у него однажды с Гельвещием и Сореном; Дидро очаровательно рассказал о нем м-ль Волян *, и в рассказе этом, как в зеркале, отражена вся непоследовательность эпохи. Гельвещий и Сорен отрицали врожденное моральное чувство, бескорыстную и самую существенную основу добродетели, за которую ратовал Дидро.

«Забавнее всего, — пишет он в конце, — что, едва закончив спор, эти милые люди, сами того не замечая, стали высказывать убедительнейшие доводы в защиту того самого чувства, которое они только что оспаривали, и тем самым опровергали свои собственные взгляды. Но Сократ на моем месте вынудил бы их сделать это еще во время спора». В другой раз он пишет о Гримме: «Друг наш утратил свои строгие принципы: он различает две морали, одна из них для монархов» *.

Все эти превосходные мысли о добродетели, морали и природе стали, конечно, особенно настойчиво являться ему в том своеобразном уединении, которое он постарался создать себе в годы старости и болезни. Многих его друзей уже не было в живых, другие рассыпались по свету. Ему часто не хватало м-ль Волян и Гримма. Разговоры утомляли его, он предпочитал им халат и свою библиотеку на шестом этаже, под черепичной крышей, на углу улиц Таран и Сен-Бенуа. Он по-прежнему много читал, постоянно размышлял и с наслаждением отдавался воспитанию дочери. Такая

добродетельная жизнь, наполненная благими поступками и мудрыми советами, вероятно, доставляла ему глубокое душевное умиротворение. И все же по временам ему, должно быть, вспоминались слова старика-отца: «Сын мой, сын мой! хороша подушка разума, но моей голове, пожалуй, еще удобней на подушке религии и законов» *. Он умер в июле 1784 года.

Как критик и художник Дидро был фигурой выдающейся. Конечно, его теория драмы имеет значение лишь постольку, поскольку она была вызовом условности, ложному вкусу, вечным мифологическим сюжетам театра его времени, поскольку она призывала вернуться к правдивому изображению нравов, к подлинным чувствам, к наблюдению над природой; как только он попытался применить ее на практике, из этого ничего не вышло. Конечно, его слишком уж занимали вопросы морали — им он подчинял все остальное и вообще в своей эстетике не считался с пределами, истинными возможностями и ограниченными рамками изящных искусств. Слишком часто он рассматривал драму как моралист, а живопись и скульптуру как литератор. Существо художественности, таинство сотворения, священная печать стиля, то неопределимое особое нечто, что придает произведению искусства законченность и совершенство, являясь в то же время его необходимостью, это «*sine qua non*»¹, позволяющее ему оставаться в веках, это драгоценное клеймо искусства частенько оставалось не замеченным Дидро; он искал ощупью, где-то рядом и не всегда точно мог указать его пальцем. Фальконе и Седен вызывали у него ту степень восторга, которую мы еще готовы простить ему применительно к Теренцию, Ричардсону и Грёзу; таковы его недостатки. Но зато какая пылкость! какой ум в анализе частных! Какие страстные поиски истины, добра, всего, что исходит от сердца! Какое образцовое понимание античности в этот непочтительный век! Какая проникновенная, честная, влюбленная критика, дотоле неизвестная! Как она льнет к полюбившемуся ей писателю, как нячится с ним, укутывает, раскутывает, лелеет и холит. И вместе с тем, несмотря на весь ее оптимизм и увлекающийся характер, не воображайте, будто ее так уж

¹ Необходимое условие (*лат.*).

легко провести. Спросите-ка об этом у автора «Времен года», у г-на де Сен-Ламбера, который «из всех наших писателей обладает наиболее чувствительной кожей» (в наши дни мы оказались бы «тонкокожий»); у г-на де Лагарпа, у которого «есть красноречие, стиль, разум, рассудительность, но нет ничего, что билось бы под левой грудью» *.

Quòd loevà in parte mamillòe
Nil salit acradico juveni...¹

Спросите у аббата Рейналя, которого «можно было бы приравнять к господину де Лагарпу, будь у него чуть поменьше богатства и чуть побольше вкуса», наконец, у достойного, мудрого и честного Тома, который, в противоположность тому же г-ну де Лагарпу, «все устремляет ввысь, тогда как тот все низводит к плоскости», и который, попытавшись писать «о женщинах», умудрился создать «такую прекрасную и достойную всяческого уважения книгу, которая, однако, лишена пола» *.

Заговорив о женщинах, мы коснулись обильнейшего и притом самого живого источника художественного вдохновения Дидро. Лучшие его строки, самые прекрасные из его «заметок», бесспорно, те, в которых фигурируют женщины, где автор рассказывает о тех хитрых уловках, в которых они выступают соучастницами либо жертвами, об их любви, мести, готовности к самопожертвованию, где он делает зарисовки их светской либо интимной жизни. Под его пером тогда быстро возникают небольшие, стремительно развивающиеся, увлекательные рассказы, далекие от какой-либо теории, просто, без аффектации излагающие самые обыденные обстоятельства, которые мы словно слышим из уст человека, с ранних лет познавшего будни жизни и научившегося распознавать скрытую за ними душевность и поэзию. Такие сценки, такие портреты не поддаются критическому анализу. Опуская более известные произведения, я порекомендовал бы тем, кто еще не читал ее, переписку Дидро с м-ль Жоден *, молоденькой актрисой, с чьей семьей он был знаком и

¹ Ничего нет в левой части груди у аркадского юноши * (лат.).

чьим поведением и талантом пытался руководить столь же заботливо, сколь и бескорыстно. Это прелестный небольшой курс практической морали, разумной и снисходительной; здесь говорится о рассудительности, о приличии, о честности, я бы сказал даже о добродетели, языком, доступным хорошенькой актрисе, особе доброй и чистосердечной, но непоседливой, беспокойной, влюбчивой. Будь на месте Дидро сам Гораций (я представляю его себе уже достаточно измученным подагрой, а потому благоразумным), он не смог бы давать более уместных советов, более практичных, более выполнимых, более человеческих; и уж, конечно, он не приправил бы их такими здравыми суждениями, такими тонкими замечаниями о сценическом искусстве. Эти письма к м-ль Жоден, опубликованные впервые в 1821 году, достойно предваряют письма к м-ль Волан, ныне, наконец, предоставленные в наше распоряжение.

В последних Дидро уже раскрывается целиком и полностью. Его вкусы, его мораль, скрытые ходы его помыслов и желаний; то, к чему он пришел в пору зрелых лет и зрелых мыслей; его чувствительность, не иссякавшая даже в период неблагодарного труда и множества испытаний, связанных с Энциклопедией; его страстный интерес к историческому прошлому, любовь к родному городу, к родительскому дому и к диким «вордам», в которых резвился он в детстве; его тяга к уединенной жизни в деревне, в кругу немногочисленных друзей, в праздности, перемежаемой волнениями и чтением; затем его жизнь среди очаровательного общества, которой он невольно увлечен, хоть и осуждает ее; множество лиц, привлекательных или отталкивающих, чувствительные или шуточные эпизоды, которые появляются и переплетаются друг с другом в его рассказах — г-жа д'Эпине со свисающими локонами и синей лентой на лбу, томно глядящая на Гримма; г-жа д'Эн, в ночной кофте, отбивающаяся от г-на Леруа; барон Гольбах, насмешливый и скептический, со своей хитро улыбающейся супругой; аббат Галиани, это «сокровище для дождливых дней», ставший необходимым, «словно мебель», так что «всякий рад был бы обзавестись у себя в деревне такой принадлежностью, если бы ее изготовляли мебельные мастера»; несравненный портрет Урании, (прекрасной и ве-

личавой г-жи Лежандр, самой добродетельной из кокеток, самой обескураживающей из всех женщин, которые когда-либо произносили: «Я вас люблю»; откровенный разговор о знаменитых людях; Вольтер, это «злое и удивительное дитя грации», который, сколько бы он ни критиковал, ни насмехался и ни лез вон из кожи, «всегда будет видеть над собой добрую дюжину своих соплеменников, которым даже не требуется встать на цыпочки, чтобы быть на голову выше его, ибо в любом жанре он — всего лишь второй» *; Руссо, это непоследовательное создание, «человек крайностей, то и дело сворачивающий к логову капуцинов, куда его занесет однажды утром, и без конца колеблющийся между атеизмом и освящением колоколов» *, — всего этого, я полагаю, достаточно, чтобы показать, что Дидро — человек, моралист, художник и критик — до конца раскрывается в этой переписке, столь счастливо уцелевшей и столь кстати опубликованной к вящему восхищению наших современников. Она скорей, чем все наши слова, оживит и восстановит для них образ, уже несколько поблекший, но навсегда запечатлевшийся в памяти. Мы незамедлительно отсылаем к ней тех из наших читателей, которые найдут, что мы сказали о ней недостаточно или что мы говорили о ней слишком много. В то же время, в порядке извинения и возмещения, мы напомним им о статье, посвященной прозе великого писателя, которую напечатал некогда в этом сборнике один из тех, кто в наши дни питает самую постоянную и неугасимую любовь к Дидро *, к его неисчерпаемому и пылкому остроумию, к его гению, легкому, плодovitому, темпераментному, к его бесконечно обаятельным беседам и щедрому, доброму характеру.

ДИДРО

Статья опубликована в «Revue de Paris» 26 июня 1831 г., включена в издание «Critiques et Portraits littéraires», t. I, P. 1832.

Стр. 110. ...Горациева ода Ликориде. — У Горация эта ода озаглавлена «Поэту Альбию Тибуллу». Русский перевод см. в кн.: Гораций, Избранные оды, Гослитиздат, 1948.

Стр. 112. ...кальвинистом социнианского толка. — Социниане — протестантская рационалистическая секта, отрицавшая божественное происхождение Иисуса Христа и признававшая лишь

Библию и Евангелие. Была основана итальянским богословом Фаустом Социном (1509—1604).

Стр. 113. Теодицеи — религиозно-философские построения, распространенные в XVII—XVIII вв., имевшие цель оправдать противоречие между «всемогуществом» бога и торжеством в мире зла; угрей Нидхэма. — Английский ученый Джон Нидхэм производил опыты над угрями; будучи сторонником гипотезы самопроизвольного зарождения организмов, он считал, например, что мучные черви рождаются из муки. Вольтер насмешливо называл Нидхэма — Ангильяр (от франц. слова «anguillule» — мучной червь) и обрушивался на него в прозе и в стихах. Нидхэм тоже не оставался в долгу и резко критиковал Вольтера. Очевидно, большую роль в ожесточенности нападок Вольтера имело то обстоятельство, что Нидхэм, которого Вольтер презрительно называл иезуитом, был не только биолог, но и католический священник.

Стр. 114. ...от чулочной машины... к тиглям Гольбаха и Руэля, к соображениям Бордё... — Речь идет о деятельности Дидро в качестве автора и главного редактора «Энциклопедии» (1751—1774), статьи для которой писали выдающиеся французские ученые, в том числе упоминаемые здесь Гольбах и Руэль (химия и техника), Бордё (физиология). Дидро писал статьи по вопросам философии, литературы, техники. Но этого мало, он сам бегал по мастерским, беседовал с мастерами, расспрашивал у них о названиях инструментов, частях машин, технических приемах. Поручив узкоспециальные отделы компетентным специалистам, он как редактор «Энциклопедии» сумел, благодаря своей разносторонности, связать эти отделы общими принципами. Большинство статей «Энциклопедии» отредактировано Дидро.

Гримм уже сравнивал голову Дидро с природой... — Сравнение принадлежит не Гримму, а швейцарскому филологу Генриху Мейстеру, который лично знал Дидро и писал о нем ряд критических работ (См.: J. Meister, La correspondance littéraire. A la mémoire de Diderot, t. XIV, p. 446).

Стр. 116. «Одним из счастливейших моментов моей жизни...» — Письмо Дидро к Софи Волан от 10 октября 1760 г. Впервые письма Дидро к Софи Волан из Франции были изданы в 1830—1831 гг. Большинство из них включено в Собр. соч. Дидро в десяти томах, т. VIII, «Academia», М.—Л. 1937.

Стр. 116—117. ...у Даламбера (что вполне понятно)... — У Даламбера не могло быть нежных чувств к своим родителям: он был незаконным сыном хозяйки салона, романистки г-жи де Тансен, и был подброшен на паперть одной из парижских церквей. Вырос он в семье стекольщика.

Стр. 118. «Он напоминает мне...» — См. Дидро, «Сожаление о моем старом халате» (1772).

...судя по признанию, сделанному им мадемуазель Волан... — В письме Дидро к Волан от 28 июня 1762 г.

Стр. 119. ...репутацию непристойного писателя... — Такой репутацией пользовался роман Дидро «Нескромные сокровища» (1749), частично примыкавший к традиции галантной литературы XVIII в.

Жан-Жак в своей «Исповеди»... — Руссо действительно называл Аннету Дидро «сварливой и злоязычной женщиной». См.: Жан-Жак Руссо, Исповедь, Гослитиздат, М. 1949, стр. 321.

«История Греции» (1743) — труд английского историка Сэмюэла Темпла, переведенный Дидро; «Медицинский словарь» — «Всеобщий словарь по медицине, химии и ботанике Ролл-Джеймса», вышедший в переводе Дидро в 1746 г.

Стр. 120. ...перевел «Опыт о Заслугах и Добродетели». — Речь идет о вольном переводе Дидро труда английского просветителя Шефстбери. Дидро назвал свою работу, опубликованную с примечаниями переводчика, «Принципы нравственной философии, или Опыты г-на Шефстбери о достоинстве и добродетели» (1745).

...в «Дополнение к Путешествию Бугенвиля». — «Путешествие Бугенвиля» (1771), сочинение капитана Луи Бугенвиля (1729—1814), где он рассказывает о своем кругосветном путешествии (1766—1769), послужило поводом Дидро для написания своего «Дополнения» (1772) — произведения, направленного против религии и буржуазной морали.

Стр. 121. ...поклонявшегося... как Броссет своему поэту. — то есть Буало, чьим издателем, комментатором и поклонником был Броссет.

...на страницах «Глоб», в статье... — Имеется в виду статья о Дидро, напечатанная в «Глоб» 20 сентября 1830 г.

Стр. 122. ...госпожа де Ла Помрэ — персонаж из романа Дидро «Жак-Фаталист» (1773). Рассказ о жизни де Ла Помрэ является в романе вставной новеллой; мадемуазель Ла-Шо — героиня новеллы «Это не сказка» (1772); госпожа де Ла-Карльер — героиня новеллы «Мадам де Ла-Карльер»; кюре де Тиве — персонаж из «Разговора отца с детьми» (1773).

...английского словаря Чалмерса. — Речь идет о труде Э. Чэмберса «Энциклопедия, или Всеобщий словарь искусств и наук», Лондон, 1727. Вместо Чэмберса Сент-Бёв здесь ошибочно назвал своего современника, составителя «Всеобщего биографического словаря» (1812—1817) Александра Чалмерса (1759—1834).

Стр. 123. Гримм в «Литературной переписке»... — «Литературная переписка» Гримма (1752—1790) представляла собой рукописную газету, где отмечались важные явления общественной жизни и литературы. «Литературная переписка», — замечает Сент-Бёв, — одна из тех книг, к которой я обращался чаще всего для своих этюдов о XVIII веке; чем усерднее пользовался я ею, тем более убеждался, что автор ее был человек тонкого, пронизательного ума, имевший на все свой собственный взгляд»... — Гольбах в своих атеистических проповедях... — Среди трудов Гольбаха, где выражены материалистические и атеистические взгляды автора, большой известностью пользовались: «Система природы» (1770), «Разоблаченное христианство» (1761), «Карманное богословие» (1768); Рейналь в «Истории двух Индий»... — Полное название сочинения Рейналя «Философская и политическая история о заведениях и коммерции европейцев в обеих Индиях» (1770); книга эта, основной труд Рейналя, была создана при участии Дидро и Гольбаха; в ней содержится суровая критика абсолютистского государства, католицизма и колониальной политики.

Стр. 124. «Раздавим гадину!» — Эти слова принадлежат Вольтеру — борцу против фанатизма католической церкви.

Стр. 125. ...страшную бездну Паскаля. — Паскаль в последние восемь лет своей жизни страдал маниакальной навязчивой идеей, будто слева от него простирается страшная бездна. Из предосторожности он всегда ставил рядом с собой стул.

Дидро... еще со времени его... «Философских мыслей»... — В трактате «Философские мысли» (1746), направленном против католической церкви и ее служителей, Дидро вместе с тем подверг критике сурово-аскетическую доктрину Пор-Рояля, предшественниками которой являлись Николь, Арно, Паскаль и др.

Мирное древо Бэкона приняло здесь образ грозной катапульты... — Имеется в виду помещенная в I томе «Энциклопедии» (1751) статья по поводу классификации наук, разработанной английским философом Бэконом и, с небольшими изменениями, положенной в основу классификации наук «Энциклопедии». Но Дидро, не ограничившись строгими рамками научного метода XVII в., в свою «Энциклопедию» вдохнул живую мысль XVIII столетия, придал «Энциклопедии» публицистическую остроту и антидеспотическую направленность.

Стр. 126. ...речь идет... о юном мексиканце... — Имеется в виду вставная новелла в философском диалоге Дидро «Разговор философа с женой маршала **** (1777)». (См. Дидро, Собр. соч., т. 2, стр. 89.)

Стр. 186. Во втором томе «Опытов» Николя... — См. цит. в кн.: P. Nicole, *Essais de morale* (1671), t. II, p. 17.

Стр. 127. У Паскаля... мир сравнивается с пустынным островом... — Паскаль, *Мысли*, гл. XI.

...«Сердце отца!» — цит., из письма Дидро к Софи Волан от 10 ноября 1760 г.

Стр. 128. ...в «Разговоре с Даламбером» и том странном «Сне»... — В философских диалогах «Разговор Даламбера с Дидро» и «Сон Даламбера» (1769).

...витализм — идеалистическое учение, согласно которому жизненные явления якобы управляются особыми нематериальными силами, так называемыми «доминантами». Сент-Бёв ошибочно приписывает взгляды «виталистов» Дидро, который именно в своих философских диалогах излагает материалистическое понимание природы.

«Опыт о жизни Сенеки». — Работа Дидро «Опыт о жизни философа Сенеки, его сочинениях, царствовании Клавдия и Нерона» (1778). Второе дополненное издание этой книги вышло в 1782 г.

...послания к Луцилию. — Речь идет о сочинении Сенеки «Моральные письма к Луцилию» (63—64 гг. н. э.), в котором римский писатель трактует окружающий мир как слитое с природой божество («бог — душа вселенной»).

...«Когда взору твоему открывается...» — D. Diderot, *Oeuvres complètes*, P. 1875—1877, t. II, p. 220.

Стр. 129. ...«сего гигантского дерева» — цитата из сочинения Дидро о Сенеке. См.: D. Diderot, *Oeuvres complètes*, P. 1826, t. II, p. 217.

...рассказал о нем м-ль Волан... — В письме к г-же Волан от 28 июля 1762 г. (D. Diderot, *Oeuvres complètes*, t. XIX, p. 85—86).

«Друг наш утратил свои строгие принципы...» — Письмо Дидро Софи Волан от 1 декабря 1760 г. (там же, стр. 42).

Стр. 130. «Сын мой...» — цитата из соч. Дидро «Разговоры отца с детьми».

Стр. 131. ...«есть красноречие, стиль...» — из письма Дидро г-же*** (ноябрь 1771).

«Ничего нет в левой части...» — из VII сатиры Ювенала.

...«такую прекрасную и достойную всяческого уважения...» — цитата из соч. Дидро «О женщинах» (1772) в кн.: D. Diderot, *Oeuvres choisies*, P. 1884, t. I, p. 117.

...переписку Дидро с м-ль Жоден. — Ряд писем

Дидро к актрисе Жоден, с которой он переписывался на протяжении 1765—1769 гг., включено в Собр. соч. Д. Дидро, т. IX, Гослитиздат, М.—Л. 1940.

Стр. 133. ...«злое и удивительное дитя грации...» «...всегда будет видеть...» — Сент-Бёв цитирует письмо Дидро к Софи Волан от 12 августа 1762 г.

«...человек крайностей...» — цитата из письма Дидро к Софи Волан от 25 июля 1762 г.

...о статье, посвященной прозе великого писателя... — Автором этой статьи («De la prose et de Diderot») был Шарль Нодье, опубликовавший ее в «Revue de Paris», 1830, juin.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Сент-Бёв. Вступительная статья М. Трескунова</i>	5
---	---

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ КРИТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

Пьер Корнель. <i>Перевод Н. Сигал</i>	47
Матюрен Ренье и Андре Шенье. <i>Перевод А. Энгельке</i>	67
Лафонтен. <i>Перевод Ю. Корнеева</i>	83
Стремления и надежды литературно-поэтического движения после революции 1830 года. <i>Перевод М. Трескунова</i>	99
Дидро. <i>Перевод А. Левинтона</i>	109
Виктор Гюго (Романы). <i>Перевод Е. Максимовой</i>	134
Жорж Санд. «Индиана». <i>Перевод А. Тетеревниковой</i>	145
Беранже (Последний сборник новых песен). <i>Перевод Э. Линецкой</i>	155
О критическом уме и о Бейле. <i>Перевод А. Энгельке</i>	167
Лабрюйер. <i>Перевод Т. Хмельницкой</i>	190
Меркантилизм в литературе. <i>Перевод Ю. Корнеева</i>	212
Спустя десять лет в литературе. <i>Перевод А. Андрея</i>	234
Эжен Сю. «Жан Кавалье». <i>Перевод Г. Рубцовой</i>	252
Несколько истин о положении в литературе. <i>Перевод Е. Зворыкиной</i>	273
«Французские легенды. Рабле». Сочинение Эжена Ноэля. <i>Перевод А. А. Смирнова</i>	294
Что такое классик? <i>Перевод С. Петрова</i>	310
«Исповедь» Руссо. <i>Перевод С. Шадрина</i>	326
Монтень. <i>Перевод И. Лихачева</i>	344

«Мысли» Паскаля. <i>Перевод Э. Лазбниковой</i>	362
Поль-Луи Курье. <i>Перевод И. Лихачева</i>	378
Неизданные произведения Ронсара. <i>Перевод А. Михай-</i> <i>лова</i>	416
«Госпожа Бовари» Гюстава Флобера. <i>Перевод А. Фе-</i> <i>дорова</i>	448
Альфред де Мюссе. <i>Перевод М. Трескунова</i>	465
Франсуа Вийон. <i>Перевод Н. Рыковой</i>	476
Комментарии	501
Указатель имен	562

Шарль Сент-Бёв
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ,
КРИТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

Редактор С. Лейбович
Художественный редактор
Г. Масляненко
Технический редактор
Л. Платонова
Корректоры
Р. Пунга и А. Юрьева

Сдано в набор 20/XI 1968 г. Подписано
к печати 31/VII 1969 г. Бумага № 1.
84X108^{1/32} 18,25 печ. л.=30,66 усл. печ. л.
31,72 + 1 вкл. = 31,77 уч.-изд. л. За-
каз № 401. Тираж 25 000 экз.
Цена 1 р. 57 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Московская типография № 20
Главполиграфпрома Комитета
по печати при Совете Министров СССР
Москва, 1-й Рижский пер., 2